

О САМОМ
ПОПУЛЯРНОМ
ПОЭТЕ КОНЦА
XIX ВЕКА ПИШЕТ
САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ
ПОЭТ СЕРЕДИНЫ
ВЕКА XX

АНТОЛОГИЯ

Евгений ЕВТУШЕНКО

Семен НАДСОН

1862, Петербург — 1887, Ялта

Есть у свободы враг опаснее
цепей,

Страшней насилия, страданья
и гоненья;

Тот враг неотразим,
он — в сердце у людей,

Он — всем врожденная
способность примиренья.

1884

Тот, кто невольно, но предуга-
дывающе подарил будущему ве-
ликому поэту хотя бы строчку,
ставшую знаменитой под чужим
именем, уже и сам поэт.

Кто не знает эти строки Ахматовой из ее стихотворного автопортрета (1913):

... И на груди моей дрожат

Цветы небывшего свиданья.

Но ведь это лишь грациозный
парафраз строчек Надсона, напи-
санных за несколько лет до рож-
дения Ахматовой:

... А на груди еще дрожат

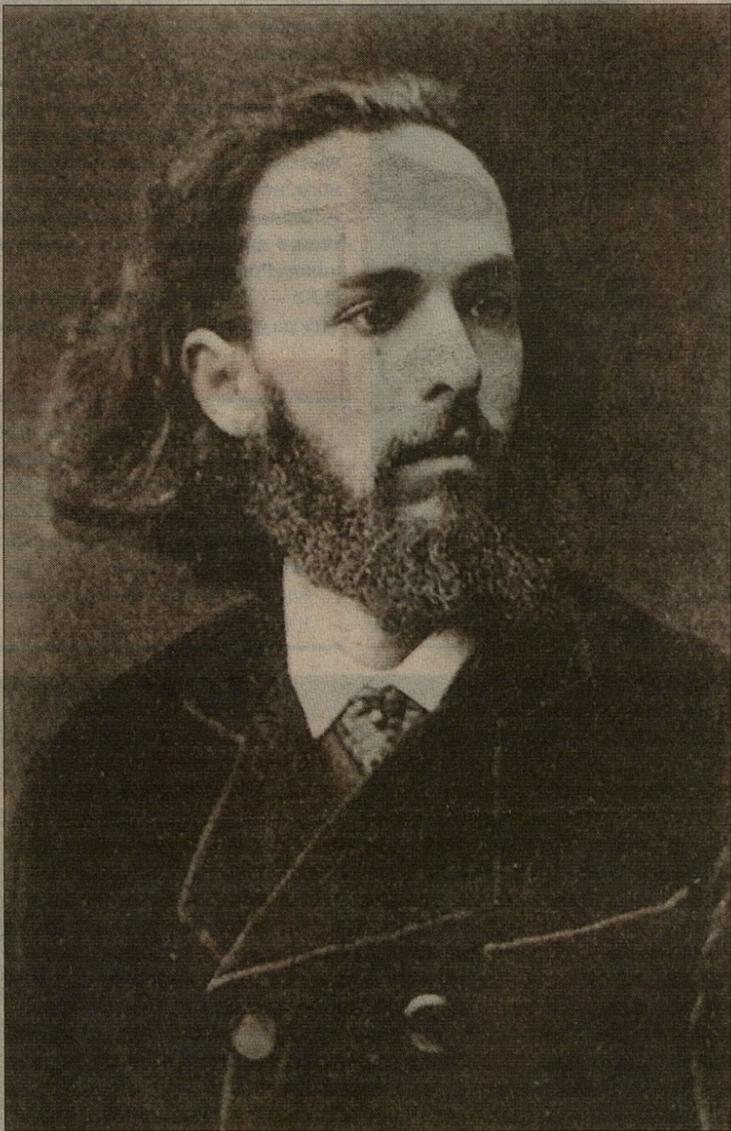
Цветы из моего букета!..

Простое совпадение исключено.
Ахматова не могла не знать этих
строк, ибо когда-то стихи Надсо-
на были разальбомлены курсистка-
ми по всей России. Поэзия —
всегда ауканье. В удушливую по-
ру диссидентских процессов на-
ших 60-х годов надсоновские
строки: «И задыхаюсь я с тоской,
// В крови, разбитый, оглушен-
ный, — // Червяк, раздавленный
судьбой, // Среди толпы много-
миллионной!» — аукнулись в сти-
хотворении Олега Чухонцева «Ча-
адаев на Басманной», искорежен-
ном, но все-таки продравшемся
сквозь цензуру в журнале
«Юность»: «Как червь, разрезан-
ный на части, // Ползет — един
— по всем углам, // Так я под ле-
мехами власти // Влачусь, разъя-
тый пополам». А надсоновское
стихотворение «Дураки, дураки,
дураки без числа...» аукнулось в
«Песенке про дураков» у Булата
Окуджавы. Начаянная двойнико-
вость образов подтверждает не-
обходимость преемственности,
забываемой самонадеянно без-
грамотными в поэзии молодыми
стихотворцами.

Певчие птицы пустырей — во-
робьи. Сам Надсон вырос отнюдь
не на пустыре и прекрасно знал
русскую классику, предпочитая
всем поэтам Лермонтова и часто
вспоминавая его безнадежные
строки: «И жизнь, как посмот-
ришь с холодным вниманьем во-
круг, — // Такая пустая и глупая
шутка...»

Однако совсем нешуточные бе-
ды сыпались на Надсона с самого
детства. Отец умер, оставив сиротами
совсем еще маленького сына
и дочь, родившуюся уже после
его смерти. Повесился отчим.
Умерла мать. Детей разобрали ее

«Один, без любви и участия»



Одна из самых распространенных фотографий Надсона

братья. Вот как себя ощущал Надсон: «Давно уже замечал я, что я лишний в семье дяди, что меня держат потому, что неловко же, в самом деле, выкинуть меня за дверь, как собачонку, и, странная вещь, чем глубже сознавал я свое положение в доме дяди — положение приживальщика, тем больше было какого-то злого удовольствия сознавать его...»

Дядя отдал будущего поэта в юнкерское училище. А тот тайком нацарапывал в своем дневнике: «Мало ли заведений, где можно учиться на казенный счет, мне все равно — куда-нибудь, только не в военную службу»; «Офицер — вечный школьник... О свободе, независимости — этом праве всякого мало-мальски развитого человека — он не должен и думать: над ним всегда занесена рука с палкой, и называется эта палка — дисциплиной...»

Одна из самых распространенных фотографий Надсона — та, где открытый лоб с явными залысинами неожиданно переходит в буйную неприбранную волну волос, почти падающих на плечи. В дневнике он однажды написал: «Анна Арсеньевна нашла, что я очень стройно держусь и что я особенно как-то причесан, хотя, собственно говоря, я совсем ни-

как не был причесан». Таков и стиль Надсона-поэта — «совсем никак не причесан».

В аннотации к его дневникам я наткнулся на высокопарную пре-

Популярность Надсона осталась если не художественным, то социальным феноменом

увеличенность: «самый талантли-
вый и популярный русский поэт
после Пушкина и Некрасова». Эти
два определения вовсе не сино-
нимы. При голосовании в 1918 го-
ду в Политехническом музее ко-
ролем поэтов выбрали Игоря Се-
верянина, а не Маяковского. Уми-
рающий от рака Михаил Светлов
рассказал мне в больнице, что
медсестры попросили у него, ав-
тора «Гренады», книгу стихов с
автографом, но только не его, а
Эдуарда Асадова. Я много раз
испытывал неловкость, когда не-
которые мои поклонники, знавшие
наизусть меня, не знали поэтов
гораздо лучших, чем я.

Буду искренен, я еле-еле на-
скреб десяток стихов у Надсона,
достойных антологии. У него
слишком много «жгучих насла-

дений», «сладкой боли», «мучи-
тельных оков», «яда безмолвного
страданья» и прочей безвкусицы.
Почти нет окончательной точно-
сти выбора слов. Значит ли это,
что Маяковский был прав в своей
глумливой реплике из воображае-
мого разговора с Пушкиным:
«Между нами // — вот беда — //
позатесался Надсон. // Мы по-
просим, // чтоб его // куда-ни-
будь // на Ша!»? Гениальному по
здаткам Маяковскому и в голову
не приходило, что, несмотря на
неоспоримую разницу в талан-
тах, у них с Надсоном было сход-
ство — в одиночестве, а иногда и
в безвкусице.

Маяковский, в отличие от Над-
сона, прикрывал одиночество
шумной публичностью, однако
его послереволюционная жизнь
была скорее похожа на медленное
умирание. Надсон не прятал сво-
его одиночества, а открыто его
культивировал: «И шел я угрюмо
дорогой своей // Один, без любви
и участия»; «...И давит сердце
мне сознание, // Что я — я раб, а
не пророк!»; «Что значу я, пиг-
мей, со всей моей любовью?!»
Простим великодушно инфанти-
лизм поэтов, когда в их стихах от
самовозвеличивания до само-
опигмеивания не так уж далеко.

Дневники Надсона трогают при-
чудливой смесью беззащитной
открытости, подростковой само-
уверенности и неуверенности в
себе, безоглядной влюбчивостью,
целомудренной застенчивостью и
презрением к самодовольному
мещанству и бюрократии — воен-
ной, светской, церковной. Днев-
ники, страдальчески выдыхан-
ные вместе с чахоточным каш-
лем, доказывают то, что сами сти-
хи не всегда подтверждают: он
все-таки в душе был настоящим
поэтом. К сожалению, он профес-
сионально не воплотился, но бла-
годаря исповедальной искренно-
сти нашел у современников отзвук
своим стихам, похожим на безна-
дежные стенания в рифму об ут-
раченных надеждах. А эти стена-
ния стали в конце XIX века глав-
ным звуковым фоном жизни рос-
сийской интеллигенции. Ими был
заполнен промежуток между
смертью Некрасова и еще только
пищущим младенческим появле-
нием в конце столетия многозве-
здной поэтической плеяды, кото-

Популярность Надсона осталась
если не художественным, то со-
циальным феноменом. Даже без-
надежная исповедь человека,
трагически чувствующего себя
«лишним» в пору «гражданских
сумерек», может дать его неведо-
мым духовным двойникам на-
дежду на то, что они не одиноки в
своей «лишности». «Не смейтесь
над надсоновщиной — это загад-
ка русской культуры и в сущности
непонятый ее звук, потому что
мы-то не понимаем и не слышим,
как понимали и слышали они»
(Осип Манделштам).

В стихах и дневниках Надсона
есть нечто общее с дневником ху-
дожницы Марии Башкирцевой
(1860 — 1884), тоже скончавшейся
в 24 года. Ее памяти Цветаева
посвятила свою первую книгу.
Вот как переключаются чувства
Башкирцевой и Надсона, которые
не были знакомы, но, пожалуй,
могли бы понять друг друга, как
никто: «Жить, полной жизнью
жить!...// Пусть завтра оборвется
// Последняя струна в груди моей
больной...» (Надсон); «Что такое
жизнь без окружающего, что
можно сделать в полном одиноче-
стве!.. Жить, жить! Святая Ма-
рия, Мать Божия, господи Ии-
сусе Христе, Боже мой, помогите
мне!» (Башкирцева). Одаренная
художница Мария Башкирцева, с
ее красотой, светскими успехами,
была гораздо избалованней Над-
сона, но ее тоже терзало чувство
ненужности: «Уж не выйдет ли из
меня в конце концов так называе-
мая непонятая личность?.. Вот е-
сли бы кого-нибудь... кто вполне
понял бы меня, перед кем я могла
бы вся высказаться...»

А Надсон, влюбившийся без па-
мяти в Талю Дешевову, которая
ему казалась «родственной ду-
шой», был ошеломлен, когда она
его «точно водой холодной окати-
ла»: «Господи, зачем она так обя-
тельно прекрасна, отчего она ме-
ня не любит? Хотя бы и мне поза-
быть, разлюбить ее, да нет, не мо-
гу! Я ничего не хочу — ни славы,
ни богатства; я хочу любви, такой
же страстной и нерассуждающей,
как и моя!»

Но Башкирцева и Надсон, может
быть, духовно самые близкие лю-
ди в России, так и не встретились.

«Женщина, которая пишет и ко-
торую я описываю, — две вещи
разные... — отмечала Башкирце-
ва. — Что мне до ее страданий!
Страдают, плачут, радуются моя
гордость, мое самолюбие, мои
интересы, моя кожа, мои глаза,
но при этом я только наблюдаю,
чтобы записать, рассказать и хо-
лодно обсудить все эти ужасные
несчастья, как Гулливер смотрел
на своих лилипутов.»

Безуспешно пытался и Надсон
отделить себя от своих стихов и
запечатленных в них несчастий:
«...что хорошего и выдающегося
в моих стихах? Отчего я сам не
вижу в них то, что видят другие,
отчего мне они кажутся бледны-
ми и неуклюжими?..» Но стихи
уже не отделялись от жизни, а
жизнь от стихов. Пожалуй, он
был самым хорошим плохим по-
этом России.

Когда вам было лет
по восемнадцать,

на вкрадчивой поверхности
земли

что ж вы не встретились,

Башкирцева и Надсон,

и от могил друг друга не слыши?